



# Свечка

Валерий Залотуха

## Annotation

Герой романа «Свечка» Евгений Золоторотов – ветеринарный врач, московский интеллигент, прекрасный сын, муж и отец – однажды случайно зашел в храм, в котором венчался Пушкин. И поставил свечку. Просто так. И полетела его жизнь кувырком, да столь стремительно и жестоко, будто кто пальцем ткнул: а ну-ка испытаем вот этого, глянем, чего стоит он и его ценности.

---

- [Валерий Александрович Залотуха](#)
    - [Часть третья](#)
      - [Глава девятнадцатая](#)
      - [Глава двадцатая](#)
      - [Конец ознакомительного фрагмента](#)
-

**Валерий Александрович Залотуха**  
**Свечка: Роман в четырех частях с**  
**приложениями и эпилогом. Том 2**

*Маме*

**Часть третья**

**ИТУ «Ветерок» при максимально возможном к  
нему приближении**

## Глава девятнадцатая

### О. Мардарий... и его несчастливое детство

Первого августа 1970 года в большой и дружной семье православного священника о. Серапиона Творогова родился мальчик, и, поскольку в тот день русская церковь отмечала день памяти Серафима Саровского, можно даже не говорить, как назвали ребенка – Серафимом, конечно же Серафимом. Но если бы имя давалось не по святцам, а по сопутствующим рождению младенца жизненным обстоятельствам, как это и ныне еще практикуется в иных народах и племенах, то, скорее всего, его назвали бы Конфузом.

«Конфликт разрешился конфузом», – именно так прокомментировал произошедшее отнюдь не выглядевший в тот день счастливым отец.

О конфликте скажем позже, а пока о конфузе...

Спустя положенный природой срок, счастливая, но заплаканная мать – матушка Неонила, виновато потупив взор, семенила с ребеночком на руках к стоящему напротив роддома мужу и отцу под насмешливыми взглядами медперсонала и зевак.

А все потому, что и мать, и отец народившегося ребеночка были весьма немолоды: матушке Неониле – под шестьдесят, батюшке Серапиону – за шестьдесят, причем они имели восьмерых взрослых сыновей и дочерей, и у некоторых из них были уже свои дети.

Это у ветхозаветных евреев рождение у стариков ребенка считалось чудом и фиксировалось в священных текстах, у нас же ситуация, когда бабка понесла от деда

и не постыдилась родить, вызывает лишь пересуды да насмешки. Но главное даже не это: как нынче говорят, фишка заключалась в том, что были они не просто дед с бабкой, а поп с попадьею и жили в насквозь пропитанной атеизмом стране, где борода уже вызывала подозрение, а человек в священническом облачении – удивление, недоумение и законное возмущение.

Впрочем, о. Серапион был не в облачении, так как попам тогда строжайше запрещалось ходить по улицам в своей служебной одежде, но все отлично знали, как теперь говорят, «ху из ху», что и подтвердил задрипанный пьяненький мужичок, который битый час толкался перед роддомом в ожидании бесплатного представления.

– Это как же ты, дед, исхитрился? – выкрикнул он задорно и сам предложил ответ: – Не иначе как с кадилом действовал!

На грубую эту шутку публика отозвалась громким смехом, и лишь одна пожилая нянечка из роддома махнула на забулдыгу рукой, порицая его, и, сама того не замечая, отчасти ответила на вопрос:

– Пить меньше надо!

Забулдыга развел руками, мол, куда уж меньше, и засмеялся вместе со всеми. Что же касается о. Серапиона, то он видал в жизни виды и, как говорится, ухом не повел – как стоял, так и продолжал стоять, ни шагу не сделав навстречу счастливой и одновременно несчастной своей жене и матери их общего ребенка.

О. Серапион был не в облачении, но выглядел торжественно: в начищенных кирзовых сапогах, в черной довоенного еще сукна и шитья фрачной паре и в застегнутой под горло желтоватой от времени сорочке. В довершение ко всему на его

напряженно-неподвижной голове, словно митра, была водружена черная шляпа – котелок – крайне редкий в тех местах головной убор. В согнутой в локте руке батюшка сжимал самодельный букет из астр и гладиолусов, а на груди, на обеих сторонах его пиджака, алел и золотился иконостас боевых наград: орденов, медалей и нашивок за ранения.

– Ну, здравствуй, мать, – сдержанно поприветствовал он супругу.

Все это происходило в поселке городского типа (ПГТ) Новоленинское (бывшем селе Староуспенском) Ленинского района К-ской области, где все хорошо знали эту поповскую семью, так как другой поповской семьи не было на сотни километров округ. Отношение новоленинцев к Твороговым не ограничивалось одним лишь насмешливым осуждением – тут присутствовали и неприязнь, и страх, и даже ненависть, но в целом к ним относились почти что с сочувствием – как к каким-то бессмысленным, обреченным на вымирание странным и глупым зверюшкам, которые непонятно как и зачем живут и недолго еще протянут.

Хотя было за что Твороговых уважать, и, забегая вперед, скажем, что в нынешнем Новоленинске нынешние новоленинцы их, в духе времени, уважают, а в местной газете «Новый новоленинец», бывшей «Новоленинской правде» про эту семью была даже напечатана большая статья, которая называлась «Под знаменем православия».

Дело в том, что род Твороговых – один из древнейших священнических родов не только в К-ской области, но, может, и во всей России, уходящий своими корнями в глубь веков – во времена Василия Темного. Уважают сегодня Твороговых за принятые ими смертные муки: в двадцатые и тридцатые годы девять Твороговых

были расстреляны, тринадцать обращены в лагерную пыль. Сам о. Серапион пробыл в ГУЛАГе пять лет, и от неминуемой смерти его спасла война – из лагеря отправили его погибать в штрафбат, но всем смертям назло он и там остался жив, вернулся героем и продолжил священническое служение в своем родовом храме, который не только не был разрушен, но каким-то чудом никогда не закрывался...

Впрочем, нет, вру, закрыта церковь была и была даже подготовлена к взрыву – заложена взрывчатка и с ночи оцеплена прилегающая территория, но взрыв не состоялся, потому что в то утро, 22 июня 1941 года, в стране загремели такие взрывы, что этот оказался бы лишним. С тех пор отношение к маленькому старенькому храму у местного партийно-советского руководства оставалось едва ли не мистическим, и когда во времена хрущевских гонений на церковь вновь встал вопрос о «ликвидации культового сооружения, не представляющего культурной ценности», местный первый секретарь райкома, в прошлом фронтовик, махнув рукой, сказал в своем узком кругу: «Ну ее к чёрту, а то опять война начнется!»

История эта в тех местах известна многим, но мало кто знает сегодня, что спасти Успенский храм в селе Староуспенское начали задолго до великой нашей войны – на другой нашей же, на той «единственной гражданской», когда брат пошел на брата, а сестра на сестру.

История спасения той пряничной, с чуть накренившейся колоколенкой церквушки, выкрашенной в яркие праздничные цвета, с наивными росписями и иконами простодушного деревенского письма, может кому-то показаться чудесной, а кому-то неправдоподобной – да что говорить, если и в самом творовском роде она по сей день вызывает разногласия и споры.



Как известно еще из советской истории, К-ская губерния после революции была средоточием белогвардейских мятежей, казачьих бунтов и крестьянских восстаний, безжалостно подавляемых частями РККА и отрядами ВЧК. И вольно или невольно, но многочисленные в те времена православные храмы, монастыри и пустыни давали прибежище мятежникам, за что сами объявлялись мятежными, и с настоятелями их, насельниками и отцами-пустынниками красные каратели поступали по законам революционного времени.

Попы не казаки, верхом скакать не умеют, да и некуда им скакать от своих приходов, – сидели за церковной оградой, как куры на насесте, безропотно ожидая расправы. Новая власть не тратила время на выяснение степени вины, расправляясь с лицами духовного звания, как теперь говорят, по определению: «Поп? В расход!»

А руководила процессом знакомая нам безбожная Клара, которую все в округе знали как Армянку, но вслух это прозвище произносить боялись, потому что оно ей не нравилось. Знали, что Армянка – не армянка, а наша, русская, да и внешний вид ее об этом говорил – скуластенькая, востроносенькая, с подстриженными в скобку прямыми светлыми волосами. Таких «армянок» было тогда пруд пруди, но какая, в конце концов, разница, кто тебя в расход пустит – армянка или не армянка?

Тех, кто видел ее вблизи, было немного, все больше слышали, а то, что о ней рассказывали, было воистину страшным.

Рассказывали, например, что в далеком Городце, где-то под Муромом, в одном старинном монастыре она сорок монахов на кол посадила. Впрочем, мы находимся сейчас не в неведомом нам Городце, а в Новоленинске, Староуспенском то есть...

К моменту рассказываемой здесь истории половина К-ского духовенства была

постреляна, порубана и сожжена, вторая половина дожидалась своей участи, и в этой скорбной череде первыми были Твороговы.

Их загодя предупредили, что возглавляемый злодейкой отряд ВЧК движется к Староуспенскому, и, сговорившись, все Твороговы – от малых детей до глубоких стариков, человек сорок – собрались в том самом храме Успения Богородицы и заперлись на все засовы, предоставив справедливое решение своей судьбы силам небесным.

Небольшая надежда на спасение была, и давал эту надежду православный люд, который собрался вокруг храма с иконами и хоругвями – чуть ли не все жители Староуспенского, а село было большое. Твороговых там не просто уважали – любили, что и в те благочестивые времена случалось нечасто, а все потому, что местные попы никогда над окрестными крестьянами не возносились, а, как те же крестьяне, сеяли, косили, управлялись со скотиной. Отличались лишь тем, что не пили водку, не сквернословили, никому не делали лиха и, само собой, добросовестно и исправно совершали все церковные службы: крестили, венчали, отпевали и грехи отпускали, за что небезгрешные староуспенцы были им особенно благодарны.

Скажем прямо: называя Твороговых отцами, они видели в них отцов.

Староуспенцы робко надеялись, что им удастся отговорить чекистов от расправы, напирая на полную невиновность батюшек, которые и в самом деле не очень привечали мятежников, объясняя, чем это всем грозит.

Ждали, томились...

Старухи пели церковное, старики крестились, дети проказничали...

И то и дело все смотрели на дорогу...

А в церкви молились и плакали...

Среди ожидающих своей участи был и отрок Серапион, который хорошо запомнил тот жаркий июньский день и, став уже о. Серапионом, не раз рассказывал эту историю своей семье.

Легкий и подвижный, он влез на колокольню и первым увидел оттуда чекистский отряд примерно в полсотни сабель, с двумя пулеметами и пушечкой, которую с трудом тянула пара серых лошадок. Среди карателей малец высмотрел и женщину, которая ехала одна в повозке. И красный флажок Серапион увидел, отчего стало немного легче, потому что время от времени Армянка устраивала спектакли с переодеванием, точнее, с пристегиванием погон на плечи гимнастеров, и тогда их встречали как своих, а те оказывались чужими и вели себя как чужие, никого уже не щадя.

На окраине села красные отстегнули пушечку, развернули и выстрелили, как показалось Серапиону, прямо в него. Кубарем скатившись с колокольни, он через мгновение оказался в храме не просто в руках своей матери, но буквально у нее под юбкой, о чем не без смущения рассказывал потом о. Серапион. К счастью, выстрел оказался неточным, снаряд разорвался далеко от храма, но православному люду и этого оказалось достаточно – бросили овцы своих пастырей, оставляя их на съедение красным волкам, разбежались, побросав от страха в пыль хоругви и иконы.

Да, забыл сказать, дело происходило на Духов день, сразу после Троицы, по всему храму было рассыпано пахучее сено и стояли чуть подвядшие березки, что делало жизнь еще более прекрасной, а смерть еще более нежеланной.

Номинальным главой рода Твороговых был тогда о. Василиск – старый, но бодрый, выведенный епархиальным начальством за штат не столько за старость, сколько за участвовавшие в старости чудачества. Никто не назначал старого своим спасителем, он сам себя таковым назначил. Вытащив Серапиона из-под материнской юбки, о. Василиск быстро его допросил, и тот, как мог, описал увиденное.

– В повозке? Лежит? Может, больная?

– Не знаю, – честно признался мальчишка.

– Эх ты! – Дед даже замахнулся в сердцах, но не ударил, а поскакал к двери вприпрыжку, так как был сухопар, легок и частенько так передвигался. Никто не пытался остановить полоумного старика, задумавшего отодвинуть засов, знали, что это бесполезно, к тому же, по правде говоря, все были буквально парализованы страхом.

Красные меж тем подошли к храму и окружили, направив на него пулеметы, но, прежде чем приступить к расправе, решили перекурить. (Дальнейшее Серапион сам видеть уже не мог и о событиях снаружи рассказывал со слов о. Василиска, делая всякий раз поправку на склонность того к старческому вранью и прибавляя и свои детские представления.)

Был о. Василиск в белом полотняном подряснике, босой, с двумя клоками седой бороды на щеках, худ, бел и страшно бледен, напоминая только что вставшего из гроба. Увидев старика, красноармейцы засмеялись негромко и напряженно, – большинство их, окончивших церковно-приходские школы, помнили историю того воскрешения.

Смех приободрил о. Василиска.

Отыскав глазами повозку с женщиной, он потрусил туда.

Безбожная Клара была бледна и, видимо, нездорова.

– Вижу, дочь, недугуешь ты! – бодро заявил о. Василиск с ходу, боясь потерять на приветствие драгоценное время или поприветствовать как-нибудь не так.

– Чего-чего? – не поняла она. Вид чудаковатого деда и его поведение вызвали улыбку даже у безжалостной чекистки.

– Недугуешь... – повторил о. Василиск менее уверенно и на всякий случай перевел: – Болееешь, значит...

– Ну болею, тебе-то что? – спросила она, перестав улыбаться.

– Так я это... вылечить тебя могу! – Дед думал, что обрадовал своим заявлением супостатку, но не тут-то было.

– Меня лучшие профессора вылечить не могли, а ты можешь? – насмешливо поинтересовалась она.

– Могу! – махнул рукой дед, чем вызвал смех окруживших повозку красноармейцев.

Здесь придется ненадолго отвлечься от диалога жертвы и палача и объяснить, что причиной выведения о. Василиска за штат и, мягко говоря, снисходительного отношения к нему родни стал открытый им у себя на старости лет лекарский талант. (Достаточно сказать, что сам себя он без ложной скромности называл русским Авиценной и утверждал, что однажды создаст лекарство от всех болезней.) Дед сам собирал травы, варил, смешивал и поил зельем тех, кто еще ни разу его не пробовал. Кому-то становилось лучше, кому-то хуже, хотя и никто не умирал, но после того, как церковный пономарь, лечившийся у бабушки от поноса, среди бела дня стал

видеть демонов и с ними сражаться, все решительно отказывались от его медицинской помощи. (И ладно бы травы, а то ведь и летучих мышей засушивал, и птичий помет в ступе растирал старый дуралей!)

– Значит, вылечишь? – спросила девушка насмешливо.

– Вылечу! – с азартом ответил дед.

– А от чего? – задала она неожиданный вопрос.

– Как от чего... – опешил о. Василиск. – От твоего недуга.

– А от какого?

– От какого, ты мне скажешь.

– Нет, это ты мне скажешь, – неожиданно жестко проговорила карательница и прибавила: – А не скажешь, я на все ваше осиное гнездо даже патронов не стану тратить – обложу соломой и подожгу.

Для ее подчиненных подобный поворот событий не был новым, они лишь озабоченно глянули по сторонам, где бы раздобыть соломки на разжижку, а старик еще больше озадачился и струхнул:

– Как же я тебе так сразу скажу... Это ж медицина... Мне тебя общупать надо, обстукать...

Тут наступила неловкая тишина, и здоровенный, на здоровенной же кобыле, матрос с маузером в деревянной кобуре вступился за особу женского пола, пробасив весьма, впрочем, доброжелательно:

– Нашего, командира, дедушка, общупывать никому не позволено, а обстукать тебя мы сами можем. Так обстукаем...

– Скажу! – прерывая матроса, с готовностью выкрикнул дед.

– Говори, – раздраженно бросила злодейка и указала подручным на стоящий вдалеке стожок.

Старик замялся.

– Только это... Надо б им отойти, болезнь эта женская, знать ее мужчинам нежелательно...

– Здесь нет мужчин и женщин, дед, здесь все красноармейцы, – все больше раздражалась карательница.

– Кровь у тебя все время текеть! – выкрикнул дед и прибавил потерянно: – Текеть и текеть...

– Откуда?

– Оттуда, – прошептал дед.

В этот самый момент выяснилось, что красноармейцы все же мужчины, потому что слышавшие это смутились и ретировались, а под матросом взбрыкнула его кобыла и отнесла неумелого седока туда, откуда разговора не было слышно. Смутилась и чекистка, но, не обращая ни на кого внимания, обратилась к русскому Авиценне:

– И что, есть у тебя от этой болезни лекарство?

– А то!

– Поможет?

– Еще как!

– Ну, неси его сюда...

Вприпрыжку ускакал о. Василиск и вприпрыжку же скоро вернулся, держа в вытянутых руках бутылочку с маслянистой густо-зеленой жидкостью. О чем они там

еще говорили, неизвестно, но, по всей вероятности, о том, как лекарство принимать, и напоследок карательница пообещала:

– Ну гляди, дед, через две недели я вернусь, и если твое лекарство не поможет, пожалеете, что я вас сегодня живьем не сожгла! А с тебя, старик, живого шкуру сниму, набью соломой и отвезу в Москву в музей атеизма.

– А разве есть такой? – вновь озадачился дед.

– Будет, – пообещала чекистка.

«Ну, пока будет», – с некоторым облегчением подумал старик.

Когда красные ушли, Твороговы высыпали из храма, плача и благодарно целуя своему спасителю руки, но, узнав, что расправа не отменена, а только отложена и будет еще более суровой, так как о. Василиск дал карательнице то же самое лекарство, которым лечил страдавшего поносом пономаря, сменили благодарность на возмущение и упреки:

– Что же ты, старый, не мог ей то, какое надо снадобье дать?!

– Где ж я его возьму? Для него жабье молочко нужно, а жаба в июне не доится, – обиженно огрызнулся дед.

До сих пор неизвестно доподлинно, помогло ли чекистке лекарство, но факт остается фактом – каратели в Староуспенское не вернулись. Говорили, что где-то напали на них прячущиеся в плавнях казаки и изрядно карательный отряд потрепали, то есть сразу было не до Твороговых, а потом, в череде карательных расправ, она просто о них забыла. Но советская власть не забыла никого: из всех ожидавших в храме насильственной смерти мужчин своей смертью на свободе умерли только двое: дед Василиск, который в конце концов изготовил лекарство от



всех болезней и на себе его испробовал, да нахлебавшийся вонючей лагерной баланды и жидких штрафбатовских щей отрок Серапион, ставший о. Серапионом.

В такой вот, согласитесь, необычной семье родился один из героев нашей истории, чье имя стоит в начале этой главы.

Необычным был не только преклонный возраст матери и отца Серафима, но и то, а точнее, это – отчего рождаются дети, это, наверное, было, не могло не быть, но как будто не было... Все дело в том, что батюшка с матушкой спали порознь, и в отношениях их давно отсутствовала, так сказать, плотская составляющая. Поговаривали даже о тайном монашеском постриге, что в безбожные времена в подобных семьях практиковалось для сохранения института монашества, и вдруг такой конфуз...

Полненькая, кругленькая, с ямочками на щеках и на локтях, матушка Неонила еще больше начала вдруг полнеть и округляться, над чем все дружно посмеивались, а сама она – так первая. Смеяться матушка перестала за три месяца до разрешения от неожиданного бремени и тогда же исповедовалась о. Серапиону. Тот ее исповедовал и причастил, но три месяца потом не разговаривал – до того самого момента, когда встретил ее с ребенком на руках у роддома неприветливым взглядом и словами: «Ну, здравствуй, мать».

Никто из взрослых детей не мог представить, когда и как могло случиться то, что случилось, да, верно, и нехорошо подобное про своих батюшку и матушку представлять. Правда, был один подозрительный случай, когда однажды за обедом батюшка вспомнил о припасенной на зиму баночке белых груздей, которая стояла в кладовке на верхней полке. Матушка про нее тоже не забывала, но позволила себе

уточнить, что грибы стоят не на верхней полке, а на нижней. Спорить с о. Серапионом было не принято, но тут на матушку будто что-то нашло – на нижней, и всё! Дети уже хотели бежать в кладовку, чтобы принести банку и сказать, на какой полке она там стояла, но батюшка остановил: «Своими силами конфликт разрешим», и матушка подтвердила: «Своими». И ушли, и отсутствовали довольно долго, а вернулись сконфуженные и без банки грибов, которая, как они сказали, разбилась, когда они ее с полки снимали.

– На какой же она стояла? – поинтересовались дети.

– На средней, – подумав, ответил о. Серапион, и матушка Неонила смущенно подтвердила:

– На средней, прости, Господи...

Неожиданным и нежеланным был тот поздний ребенок, и хотя маленького любить положено, и его несомненно любили, но какой-то особенной, если можно так выразиться, конфузливой любовью.

Единственный в семье, где все парни были в отца – мосластые и сухощавые, Серафим пошел в мать – полненький, кругленький, с ямочками на щеках и локоточках. Всем своим видом малыш словно доказывал, что батюшка к его рождению отношения не имеет, но это не помогало ему в отношениях с отцом – о. Серапион не открывал своего сердца сыну и до самой смерти был не только скуп на ласку, на которую со всеми своими детьми был скуп, но просто-таки отчужденно-суров. (Матушка же Неонила души в последыше не чаяла и с коленей своих не спускала, даже когда тот был уже едва ли не больше ее.)

В завершение истории несчастливого детства о. Мардария расскажем о

таинственном «нат», которое тот пристегивает в своей речи чуть не к каждому слову. Для всех, кто знал, любил, да, верно, и сейчас любит о. Мардария, казалось и, может быть, продолжает казаться, что за этим его «нат» скрывается какая-то тайна, быть может, здесь замешана таинственная грузинская красавица Ната, которую о. Мардарий однажды полюбил, но она не ответила взаимностью? Кстати, все три наших сестры в своих частных обсуждениях данной фигуры речи о. Мардария склонялись именно к этому, романтическому варианту, не решаясь спросить его об этом напрямую.

А зря!

Он бы наверняка рассказал, как всегда весело, до слез над собой смеясь. Но не спросили, и не рассказал, поэтому придется это делать нам, для чего вновь будем вынуждены окунуться в историю, ныряя в глубь веков.

Повторим, род Твороговых – род древний поповский, в котором последние триста лет по мужской линии никого, кроме попов и монахов, не было. Если рождался мальчик, он становился попом, если девочка, то ее отдавали за попа, и она делалась попадье, не обретшие же свою вторую половину уходили, как правило, в монастыри, мужские и женские.

Бывали ли исключения?

Да, бывали.

Самочинные семейные истории называли три периода, когда попытки оторваться от рода случались особенно часто.

Первый – петровские реформы, второй – отмена крепостного права и третий, вопреки ожиданиям, не октябрьская революция, а февральская – прекраснодушно

обжегшись в феврале, Твороговы встретили великий октябрь крайне неприязненно и без малейших иллюзий. Исключения не просто подтверждали правило, они еще больше укореняли его, укрепляли, превращая чуть ли не в физический закон.

Семейное предание гласило, что с теми, кто пытался данный закон нарушить, случались крупные неприятности.

Был якобы некий Ивашка Творогов, которого Петр I послал за границу учиться естественным наукам, но он объелся в дороге соленой трески и обпился воды, да так, что сам пополам треснул.

Или Ванька Творогов, решивший стать не попом, а плотником и убитый своим же топором, который на него сверху свалился.

Был еще Творогов Иван – курил в постели папиросы и сгорел заживо. Были и другие, не менее страшные и поучительные истории.

Укрепляя главный закон семьи, старшие Твороговы часто рассказывали их своим чадам: про Ивашку – малышам, про Ваньку – отрокам, а про Ивана – юношам.

Девочкам, независимо от возраста, рассказывали историю Ираиды Твороговой, которая сбежала с проезжими артистами, сама стала артисткой и упала во время очередной оперетки в оркестровую яму, сломала себе шею, отчего сделалась скособоченной и была уже никому не нужна.

Разумеется, истории эти могли испугать только Твороговых детей, повзрослев, они не боялись ни Ивашку, ни Ваньку, ни даже Ивана, но был еще один их родственник, не мифический уже, а реальный, живущий в Москве, при упоминании о котором Твороговы горько усмехались и, заговорив, тут же умолкали. Хотя запрета на имя этого человека в семье Твороговых не было, да и как запретишь, если человек

тот был в среде духовенства известный, в миру популярный – не кто-нибудь, а сам епископ Иоанн (Недотрогов). Твороговы не считали его своим родственником, да и сам он на таком родстве не настаивал.

И в самом деле, родство можно обнаружить в созвучии внешне противоположных фамилий, если согласиться, что Недотроговы происходили из того же древнего, уходящего в глубь веков рода Твороговых, но под влиянием внешних обстоятельств сделались сперва Недотвороговыми, а потом, уже в новые времена под влиянием новых внешних обстоятельств – Недотроговыми.

Впрочем, это всё догадки.

Семья о. Серапиона и знать не знала, и думать не думала о какой-то где-то своей родне, но однажды, в самом начале семидесятых прошлого уже века, если точно – весной семьдесят первого года, на пороге твороговского убогого жилища возник красивый хорошо одетый молодой человек с кожаной дорожной сумкой в руке – и громко и даже торжественно поприветствовал сидящих за обеденным столом Твороговых редким в те времена приветствием:

– Мир вашему дому!

О. Серапион чуть не подавился от неожиданности, а таинственный гость, выдержав паузу, прочувствованно произнес еще более редкое пожелание, так сказать, православное «Приятного аппетита»:

– Ангела за трапезой!

Что и говорить – семидесятые не тридцатые, за такое пожелание уже не посадили бы, но на заметку взять могли, и о. Серапион все-таки подавился и закашлялся, и кашлял до тех пор, пока матушка Неонила, получив безмолвное,

одним глазом благословение, не треснула его по широкой спине двумя своими пухлыми кулачками.

Гостя звали Алексей, ему было двадцать два года, он был москвич, долго жил за границей, в совершенстве знал английский и греческий, учился в духовной семинарии, после чего собирался поступать в академию и принимать монашеский постриг. Надо ли говорить, как обрадовалась бедная провинциальная поповская семья такому неожиданному родству: семинарист, красавец, умница, москвич, хотя, как утверждал потом о. Серапион: «Он сразу мне не понравился».

Это было неправдой.

Алексей вызывал симпатию, но легко объяснимая подозрительность старого политэка ко всем входящим в дом незнакомцам требовала проверки, и, надо сказать, гость выдержал проверку на отлично, не только проявив великолепные знания Священного писания и церковной истории, но и безупречно сослужил о. Серапиону на воскресной литургии в качестве алтарника.

Москвич привез провинциалам подарки: о. Серапиону – теплый мохеровый шарф с серебряной нитью, матушке Неониле – японский шелковый платок с русским узором, и всем – сервелат, шпроты в масле, зефир в шоколаде и самый настоящий ананас, который твороговские дети не только еще не ели, но даже и не видели.

Гость прогостил у Твороговых с неделю. Дети-мальчишки были в восторге от брата Алеши, девочки тайно в него влюбились, матушка Неонила потчевала без конца немудрящими своими разносолами, о. Серапион поглядывал с приветливым изучающим прищуром.

– Ну, как там у вас в Московии? – задавал он гостю один и тот же вопрос за

вечерним чаем, и начинались разговоры, которых все ждали.

В Московии, как и во всем бескрайнем СССР, был расцвет застоя, но, как сказал красивый и благоразумный юноша: «Они еще испытуют в нас потребность, они нас еще призовут», под «они» подразумевая власть. Слыша эти слова и зная нашу сегодняшнюю историю, можно было бы говорить если не о пророческом даре, то о редкой прозорливости молодого человека, на самом же деле это были слова его отца, довольно крупного работника советского торгпредства в западных странах. Сам поповский сын, он не только не препятствовал, чтобы сын его стал попом, но всячески этому способствовал. В системе советских ценностей практически преступный выбор сына не повлиял на карьеру отца, и это может показаться странным и даже подозрительным, но каких только не бывает в жизни чудес. В конце концов, избавление нашей страны от коммунистического ига тоже произошло вопреки всему, и многие, в том числе и автор этих строк, воспринимают это как чудо.

Короче, брат Алеша, как его называли в твороговском доме, готовился делать карьеру, и не просто карьеру, а духовную карьеру.

У родившихся в СССР, воспитанных на примерах великой русской литературы, где все вышли из гоголевской шинели (Акакий Акакиевич о карьере не мечтал, он мечтал о шинели), слово это – карьера – вызывает негативное восприятие, а карьерист является для них чуть ли не синонимом предателя, что, по-моему, не совсем правильно. В самом деле, если не будет в хорошем смысле карьеристов – специалистов, ищущих занятие и должность себе по плечу, будут карьеристы в их классическом русском понимании – выскочки, временщики, не по чину начальники,

сколько мы от них натерпелись, да и сейчас продолжаем терпеть.

Поняв, что перед ним карьерист, о. Серапион поначалу напрягся, но, подумав, как я сейчас, успокоился.

Тень на мирный твороговский плетень в отношениях их со своим названным родственником нежданно-негаданно навели инопланетяне, гуманоиды, а если уж совсем точно – марсиане.

В списке запрещенной по умолчанию литературы в твороговском доме была «Аэлита» Алексея Толстого, и надо же – именно эту книгу стал однажды читать детям вслух Алексей. О. Серапион услышал, не понял, что это, спросил, переспросил и потребовал прекратить чтение, после чего состоялся диспут, более напоминающий межзвездные войны. Вопрос-анекдот «есть ли жизнь на Марсе?» в устах дискутирующих православных принимал богословско-гамлетовский характер. О. Серапион утверждал, что для церкви это не может быть вопросом, ибо положительный на него ответ разрушает всю религиозную систему мироздания, карьерист-семинарист же настаивал, что нет и не может быть тем запретных, а картину мира можно и подкорректировать, что в церкви неоднократно уже практиковалось. Твороговские дети были на стороне брата Алеши, матушка же Неонила, всячески симпатизируя знатному и обеспеченному московскому родственнику, хмурая брови, безмолвно отстаивала доводы супруга.

Тень на плетне привела к новой цензуре в твороговском семействе, теперь во время вечерних чаепитий матушка Неонила выводила детей во двор, оставляя хозяина и гостя за закрытыми дверями, потому что, как сказал батюшка, муж и отец: «Наши разговоры не для детских ушек, да и не для женских тоже».



Правда, кое-что услышать удалось...

Слово «департамент», например, – его, старинное, ныне малоупотребляемое, не раз произносили хозяин и гость, причем с очень разными интонациями: гость – с торжественной и деловой, хозяин – с осуждающей.

Москвич говорил, что в церковную жизнь надо вдохнуть свежую струю, по-новому жить и по-новому служить. Услышав про свежую струю, о. Серапион пожал плечами, мол, мы тут на духоту не жалуемся, жить по-новому отказался, сославшись на свой преклонный возраст, и тут же прямо спросил, что значит по-новому служить, уж не изменения ли в богослужении, наподобие тех, что в свое время обновленцы предлагали или католики не так давно у себя уделали? Семинарист успокоил старого попа, сказав, что об этом речь не идет, но чтобы окончательно не обезлюдет, русская православная церковь должна быть открыта миру.

– Какому миру? – поинтересовался старый священник.

– Миру... – строго, но уклончиво повторил юноша.

– Сему? – грозно хмурясь и морщась, как при изжоге, предложил уточнить о. Серапион.

– Всему, – окончательно ушел от ответа Алексей.

Всего состоялось три разговора за закрытыми дверями, во время которых матушка Неонила чинно сидела с детьми на скамеечке под окнами дома, держа ушки на макушке, так при этом напрягаясь, что даже забывала здороваться с проходящими мимо соседями. Первый разговор был мирный, второй – нервный, третий – катастрофический.

– Пошел вон из моего дома, щенок! – закричал вдруг о. Серапион, а через пару

минут на пороге появился Алексей с дорожной сумкой. Он был бледен, но при этом улыбался.

Оставив испуганных детей и не обращая внимания на заинтересованных соседей, матушка Неонила кинулась в эпицентр конфликта, пытаясь успокоить супруга, а гостя уговорить остаться или хотя бы задержаться, чтобы забрать приготовленные гостинцы, но все было бесполезно.

– Езжай, езжай в свой департамент! – кричал о. Серапион, который за всю свою жизнь, кажется, никогда так не кричал.

Гость сердито усмехался и бросал через плечо:

– Погодите, вы еще будете в том департаменте работать!

– Ты мне только скажи, что это за департамент такой? – осторожно спросила супруга матушка Неонила, когда буря в его душе немного улеглась.

– Департамент веры, – буркнул о. Серапион.

– А разве есть такой? – опешила матушка.

– Слава Богу, нет пока. – О. Серапион вздохнул и проговорил горестно: – Эх, знала бы ты, мать, что он мне предложил...

– Что?

– Ничего. Я же сказал: ничего не спрашивай.

Ничего не спрашивала больше матушка Неонила, стараясь забыть о незваном госте, но тот департамент пригодился ей неожиданно, когда страшилки про Ивашку и прочих перестали срабатывать на взрослеющих детях. Теперь пугали о. Иоанном и его несуществующим пока департаментом.

Алексей же стал о. Иоанном, приняв монашество сразу после семинарии и

поступив в академию. Его карьерный рост был стремителен: спустя несколько лет он уехал за границу, откуда вернулся уже епископом.

Епископ... Другие гордились бы таким знакомством, Твороговы же о нем не только не упоминали, но и старались забыть.

Впрочем, мы отвлеклись, чуть не забыв о герое этой главы...

Несмотря на свою древность и верность вере, Твороговы не хватали с неба звезд, митры на их убеленные сединами головы сверху не падали. Как начинал кто дьяконить, так и дьяконил, пока жизненные силы окончательно не оставляли. Иереи – да, протоиереи – тоже, а вот архиереев Твороговых не было и не намечалось.

Вы скажете, может, они этого не хотели?

Да, конечно хотели, ибо как плох солдат, не мечтающий стать генералом, так и не надеющийся на повышение в чине иерей тоже либо имеет в себе какой-то изъян, либо уничивается паче гордости.

Зная все это, можно было представить восторг матушки Неонилы, когда годовалый Серафимушка произнес наконец свое первое слово и слово это было АРХИЕРЕЙ! Причем произнесено оно было громко и отчетливо, особенно буква «р». Схватив ребенка на руки, матушка прибежала с ним к батюшке, поставила Серафима на табурет и попросила повторить сказанное. Малыш не заставил себя уговаривать:

– Архиерей!

Пожалуй, то был единственный случай, когда во взгляде отца на своего последыша появились теплота и надежда, в его глазах можно было в тот момент прочитать: «Неужели ты?»

Буквально на следующий день надежда была подкреплена.

– Митра! – выкрикнул ребенок.

О. Серапион взял сына на руки и прижал к себе.

Однако третьим оказалось слово, всех озадачившее и даже разочаровавшее:

– Трактор.

О. Серапион прямо тогда спросил матушку Неонилу:

– При чем здесь трактор?

А четвертое произнесенное малышом слово приказало оставить даже малейшую надежду на будущее архиерейство Серафима, так как слово то было – «революция».

Вскоре стало ясно – ребенок бездумно повторяет услышанные слова, но только те, в каких есть буква «р», произносить которую ему, видимо, нравилось. О. Серапион махнул на отпрыска рукой, сказав, что хорошо, если тот выбьется в дьяконы, скорее же всего, пропономарит до конца своего жизненного срока.

Материнская любовь от этой очевидности не умалилась, матушка не спускала ребеночка с рук, используя каждую свободную минуту, чтобы тискать его и целовать.

Не имея возможности держать корову, так как налог на нее был неподъемен, Твороговы держали в сараюшке козу, на козьем молоке и выросли все дети, любил его и маленький Серафим. И вот однажды матушка Неонила доила козу, любимец же ее был, как водится, рядом. Как бы комментируя процесс, матушка громко и отчетливо говорила, в надежде, что Серафимушка какое-то слово повторит:

– Козичка... – в тех местах и сейчас так называют коз, – дает... нам... молоко. – После каждого слова она делала паузу, ожидая, что сыночек это слово повторит. Но тот молчал, потому что там не было его любимой буквы «р». Неонила никак не

могла такое слово подобрать и вдруг вспомнила:

– Натуральное!

У Серафима загорелся глаз, и, мгновенно став значительным и важным почти как архиерей, он заговорил:

– Нат...

Только этот первый слог успел произнести малыш, когда ни с того ни с сего коза вдруг сделала в его сторону выпад, опрокидывая плошку с молоком и сидящую на низенькой скамеечке матушку. Серафим почувствовал угрозу, повернулся и побежал, на бегу пытаясь договорить:

– Нат... нат... нат...

И после каждого «нат» бедный ребенок получал под попку рогами, и это могло неизвестно чем кончиться, если бы матушка не вскочила и в падении не ухватила окаянное животное за задние копыта.

А Серафим замолчал, и молчание его длилось три года.

Чего только не делала матушка Неонила, чтобы сыночек вновь заговорил: обращалась к врачам, втайне от мужа носила его к знахарке и, конечно, молилась, молилась, молилась, по полночи простаивая у иконы целителю Пантелеймону. На четвертый год уже шестилетний Серафим сказал первое слово, но это было знакомое нам ничего не означающее «нат». А дальше пошло: дом-нат, собака-нат, даже икона-нат.

Так сбылись слова о. Серапиона, который, услышав из уст своего чада слово «революция» сказал: «Не то что архи, но и простым иереем тебе никогда не быть». И в самом деле, трудно представить священника, который обратился бы на

проповеди к своей пастве: «Братья и сестры-нат».

Конфуз, да и только!

Самым неожиданным образом дорогой наш конфуз проявился в школе на уроках письма. Маленький Серафим писал чисто и красиво, но почему-то исключал из слов гласные. Так писали в древности на многих языках, в том числе и у нас на Руси, кажется, и на возрожденном иврите евреи так сейчас пишут. Но то древняя Русь, а то Советский Союз, то иврит, а то русский язык. Ну разве можно принять, что вместо «мама» написано «мм», вместо «рама» – «рм», а вместо «Октябрьская революция» – абракадабра из одних согласных?! Боролись с малышом и в школе, и дома, до третьего класса боролись и побороли-таки, дожали, стал Серафимушка писать, как все. Правда, гласные были в два раза меньше согласных, так что почерк образовался очень своеобразный, – письмо дожали, а речь так и не смогли, и неизбывное «нат» осталось, перейдя по прямой от Серафима к о. Мардарию.

Но, удивительное дело, на церковнославянском о. Мардарий говорил чисто и, ведя дьяконскую часть службы, никаких «нат» не допускал. И если бы ему пришлось кого убеждать в правдивости своих слов, то на современном русском это звучало бы примерно так:

– Честное слово-нат! Не вру-нат!

А перейдя на церковнославянский, он проговорил бы чисто и красиво:

– Несть лести во языке моем.

Получалось, о. Мардарий знал два языка, и оба русские, но один окружающими принимался, а другой нет, навязчивое «нат» исчезало, если вдруг он заговаривал на церковнославянском.

– Аще дам сон очима моима и веждама моима дремаша.

И, обнаружив непонимание и даже раздражение в глазах собеседников, немедленно переводил:

– Спать охота-нат, – и в подтверждение зевал.

...и его трудное отрочество

В те не такие уж далекие, но стремительно отдаляющиеся от нас годы детство было по определению счастливым.

Но, как видим, не всякое.

В ПГТ Новоленинское семья Твороговых была самой бедной, если не считать последних забулдыг.

То была даже не бедность, а самая настоящая нищета, и если бы не приношения старушек-прихожанок на канон в виде буханки хлеба, кулька макарон или брикета киселя, то твороговские дети с голоду могли начать умирать, и, случись это, никто во всем Новоленинском палец о палец не ударил бы, чтобы их спасти, а факт смерти, скорее всего, использовали бы в качестве атеистической пропаганды, напечатав в газете «Новоленинская правда» статью под заголовком: «Поп-изувер заморил голодом собственных детей».

Страх Божий, это обязательное чувство православного христианина, которое многим приходится в себе культивировать, было всегдашним и всамделишным чувством семьи Твороговых.

Да и как не бояться Бога, который попускал им такие испытания?

Твороговы боялись фининспектора Зильбермана, обкладывавшего их таким

налогом, что иной раз матушка Неонила не могла найти лоскутка ткани, чтобы починить прохудившиеся детские штанишки. Боялись начальника милиции Угловатого, готового из любой детской шалости состряпать дело и отправить «попят» в колонию для малолетних преступников, потому мальчики Твороговы по улице по одному не ходили, чтобы кто безнаказанно не задрался, девочки же не ходили без братьев, чтобы кто, не боясь наказания, зажав в угол, их не пощупал. Боялись завотделом пропаганды райкома партии Поломошнову, которая ходила на Пасху вокруг их дома и высматривала, не валяется ли где крашеная яичная скорлупа, и если ее находила, врывалась к Твороговым в пресветлый день и, брызгая слюной, кричала: «Дома красьте и жрите свои яйца, а на Советской улице не сметь!» (Твороговы жили на Советской.) Боялись известного местного сексота Крайко, и хотя почетный стукач находился на заслуженном отдыхе, он частенько простаивал во дворе напротив твороговских окон, поглядывая на них и делая какие-то записи в блокноте, боялись соседа по уплотнению по прозвищу Четвертинка, у которого, как все говорили, была «справка», и который кричал, напившись: «Я вашу чертову церковь сожгу к чертовой матери, и мне ни черта не будет!»

Соседей по уплотнению было несколько семей, они занимали большую часть бывшего твороговского дома, когда-то красивого и ухоженного, а теперь серого, убогого, с множеством выгородок и пристроек, и не надо здесь объяснять, как «уплотнители» относились к бывшим хозяевам дома, ютящимся в двух последних комнатках.

Все эти страхи были, так сказать, очевидные, но существовали и другие, недоступные и непонятные непосвященным.



Девуцы Твороговы, например, страшно боялись, что не выйдут замуж, так как выйти они могли только за своих, православных, поповских, а ближайший приход находился в трехстах километрах отсюда, и у тамошних батюшки и матушки было шестеро детей, но все девушки.

Как кукушки, эти таинственные птицы, в поисках своей половины в одиночку прилетающие из Африки в Европу, как еще более таинственная рыба-угорь, собирающаяся со всех морей и океанов в единственное Саргассово море, чтобы там найти своих и продолжить род, так и поповские семьи, рассеянные на одной шестой части суши, прореженные советской властью до предела – выводывали, списывались, съезжались, чтобы узнать: а нет ли у вас жениха? а нет ли у вас невесты? И если был (была) – не выбирали и не раздумывали, скоренько благословлялись у родителей, стоя перед ними на коленях с образами Спасителя и Богородицы, венчались тихо и жили мирно, рожая чуть не каждый год по ребеночку.

Были ли они счастливы?

В сладких тяготах служения, в бесчисленных и бесконечных бытовых заботах праздный этот вопрос никем не ставился, может, потому и разводов не отмечалось.

Так и вели они свою полужаметную, полужапретную, полусекретную жизнь – сумеречные люди, не признающие красных дней календаря, напрочь отрицающие праздников праздник всех советских людей – Новый год.

О, этот Новый год, когда в Новоленинском на площади Ленина стояла огромная нарядно украшенная елка с разноцветными гирляндами лампочек, из динамиков звучала эстрадная музыка, а по улицам расхаживала веселая молодежь, – Твороговы же в это время постились Рождественским постом, зябли в плохо протопленных

комнатках, утомленно молились, стараясь не видеть, не слышать, не замечать царящего вокруг веселья.

Малые и большие страхи каждого сливались в общий твороговский страх, когда в новогоднюю ночь по радио передавали поздравление Советского правительства и в нем каждый раз звучали слова: «мир и безопасность»<sup>[1]</sup>.

Тогда о. Серапион бледнел, матушка Неонила плакала, а дети бухались на колени перед иконами и испуганно напоминали Богу:

– Господи, нам же школу нужно закончить!

Страхи маленького Серафима равнялись всем твороговским страхам, помноженным на десять. Когда он пошел в школу, из старших братьев там уже никто не учился и некому было защищать толстого попенка со всеми его странностями. Например, он не выходил к доске, не перекрестившись, и как ни боролись учителя и ученики, ничего с этим поделать не могли. А если прибавить к этому оставшийся на всю жизнь животный страх перед зверем по имени коза, то остается только удивляться, как о. Мардарий в свои детские годы не разучился смеяться, а делал это часто и охотно.

Почти всё для детей Твороговых было в их семье проблемой, почти на всякое их действие требовалось родительское благословение. Даже чтобы рассказать братьям и сестрам случившуюся в классе забавную историю или невинный детский анекдот, прежде должно было получить высокое разрешение, и вот как это происходило.

Приходит, допустим, кто из школы домой и его буквально распирает сегодняшнее происшествие в классе, история рвется наружу так, что он места себе не находит. (Происходило это еще и потому, что в посты и постные дни рассказывать

подобные истории запрещалось категорически, а не стоит забывать, что таких дней в православном календаре больше двухсот сорока.) И вот он, бедняга, подходит к своему родному отцу и одновременно к отцу духовному – о. Серапиону и просит дрожащим от волнения голосом:

– Благословите, батюшка, веселую историю рассказать.

До последнего дня твороговские дети были с родителями на «вы», а слово «анекдот» в числе многих других находилось под запретом, вместо него применялось понятное и безвинное словосочетание – веселая история.

– Выдуманная или невыдуманная? – хмуро спрашивал о. Серапион, который в принципе не любил подобные обращения, не находя во всех этих историях благочестивого смысла.

– Невыдуманная! – всегда обещал проситель, так как невыдуманная, быть, имела больше шансов пройти родительскую цензуру – все выдуманное изначально вызывало подозрения.

О. Серапион недовольно хмыкал и молча тыкал указательным пальцем в свое большое войлочное ухо. От волнения рассказчик хватал ртом воздух, вставлял мордочку в родительскую ушную раковину и, морщась от щекочущих волос, рассказывал свою невыдуманную историю. В это время на почтительном, чтобы ненароком не услышать, расстоянии стояли в ожидании остальные маленькие Твороговы, напряженно вглядываясь в батюшкино лицо, считывая его сдержанные эмоции и слабо надеясь на положительное решение. Они знали: если левая батюшкина бровь, а затем и правая начинают подламываться, как перегруженный мосток, – надежды нет, последует запрет, и запрет непременно следовал. Если же

правая, а затем левая брови начинают громоздиться вверх домиком, то надежда есть, и чем острее у домика крыша, тем надежда больше. (Наверное, со стороны это забавно выглядело: восемь отроков и отроковиц не сводят глаз со своего отца, невольно повторяя его мимику: у батюшки бровь провалилась – и у них у всех проваливается, у батюшки бровь взгромоздилась – и у них точь-в-точь то же самое.)

Да, надо все-таки назвать всех твороговских детей по именам в том порядке, в каком они на свет появились: Василий, Аграфена, Николай летний, Савва, зимний Николай, Вера, Надежда, Фекла и, наконец, Серафим. И если разрешение было получено, и рассказчика благословляли на его рассказ все, включая матушку Неонилу, обращали на него свой нетерпеливый голодный до веселого взор. Смеяться начинали, когда еще не было произнесено первое слово, но как же смеялись по окончании любой веселой истории, и всё смеялись и смеялись, как бы не желая ее от себя отпустить.

В защиту о. Серапиона надо сказать, что он не был ни букой, ни злокой, сам любил посмеяться, а о матушке Неониле и говорить нечего – первая была в Новоленинском хохотушка, но – память о расстрелянной и изведенной в ГУЛАГе твороговской родне, как о. Серапион считал, не давала им права бездумно веселиться. Именно поэтому по детской беспристрастной статистике на одно батюшкино благословение приходилось два – два с половиной запрета. А после запрета наблюдалась совсем другая картина. Надежда услышать веселую невыдуманную историю сгорала, опаляя холодным огнем лица и остужая души, и все молча расходились по своим углам.

Это – слушатели.

Но каково же было несостоявшемуся рассказчику!

Веселая невыдуманная история билась в нем, как бьется в силках яркая голосистая птица, стремясь вырваться на волю, чтобы радовать мир своим пением и оперением, – несчастный выбегал во двор, где в сараюшке жил твороговский гончий пес, и, обхватив руками его каменную, пахнущую псиной башку, рассказывал, рассказывал, рассказывал ему свою веселую историю, не надеясь уже услышать в конце счастливый благодарный смех.

Это что касается отроков Твороговых, что же до отроковиц, то их положение было еще более непростым, ведь перед отцовской мужской цензурой им приходилось пройти цензуру материнскую, женскую – матушка Неонила решала, какие слова могут вылететь из девичьих уст и какие вправе влететь в юношеские уши. Впрочем, матушкина цензура всегда оказывалась значительно мягче батюшкиной, нередко разрешение следовало после первых слов истории или после перечисления ее героев. Поэтому тут нередко возникали спорные ситуации: матушка разрешала, а батюшка нет, но последнее слово, конечно, оставалось за о. Серапионом.

Как уже говорилось, Серафим оказался оторванным от старших годами, что также несло в себе холодность отношения к нему братьев и сестер, не говоря уже о том влиянии, которое имел на всех отец. Исключением была лишь Фекла, самая близкая Серафиму не только по возрасту, но и по характеру, и как только у матушки Неонилы случалась нужда спустить любимца со своих коленей, он тут же оказывался на коленях этой своей сестрички. И с веселыми невыдуманными историями у Серафима складывалось все гораздо хуже, чем у братьев и сестер.

Придя в первом классе из школы, он пожелал таковую историю всем рассказать, а так как до четвертого класса мальчик в семье Твороговых приравнялся к девочкам и даже ходил вместе с матерью и сестрами в баню, то первой услышала ее матушка Неонила. История была очень короткая, всего-то в три слова, но, услышав ее, матушка бухнулась на пол без чувств. О. Серапион побрызгал на супругу святой водой, дал валерьяновых капель и сурово обратился к начинающему рассказчику веселых невыдуманных историй с предложением повторить ему то, что вызвало у матушки обморок. Ничтоже сумняшеся, Серафим повторил три тех самых слова батюшке, после чего о. Серапион развернул рассказчика к себе спиной и решительно приложился родительской коленкой к мягкому месту пониже спины бедного Серафимушки, так что тот полетел, будто хорошо накачанный футбольный мяч, к счастью, вылетев не в аут, а угодив в несмотря ни на что любящую свою мамочку, которая его удержала, как вратарь, и прижала к себе.

После этого случая последовал строжайший запрет, касающийся исключительно Серафима, – в ближайшие три года он не имел права рассказывать в семье свои истории, буде они невыдуманные, а тем паче – выдуманные.

Но что же такое сказал безвинный Серафим, что лишило матушку чувств и заставило батюшку нанести ребенку безжалостный удар?

Пересказать это решительно невозможно, а вот в записи история просто-таки невинна, и не расскажи он ее тогда родителям, а подай записочкой, пожалуй, и не поняли бы ничего батюшка с матушкой. Фраза делается похабной в устной речи, на это и рассчитывал твороговский идейный враг – учитель физкультуры Врагов, намеренно научая несмышленища.

Итак:

Под столом трусы и бутсы.

Прочтите эти слова вслух, и вы всё поймете.

Поняли?

Ну вот...

И в дальнейшем у Серафима было все не так, как у его братьев. Если бы на кого из них подобный запрет был наложен, то, без сомнения, никто не решился бы его нарушать. Но, мятежная душа, будущий о. Мардарий был не таков. Вынужденное свое молчание он хранил не три, а всего лишь два года. Молчание то было воистину мученическим. Сколько раз он сиживал у собачьей конуры, рассказывая свои веселые выдуманные и невыдуманные истории Заливаю, а тот махал приветливо хвостом, радуясь общению и думая при этом: «Было бы совсем хорошо, если бы ты мне еще пожрать принес».

Но, учась уже в третьем классе, рано повзрослевший от невзгод Серафим пришел однажды из школы и с очень серьезным, трагическим даже видом предъявил родителям ультиматум:

— Матушка-нат и батюшка-нат, если вы-нат и все здесь-нат сейчас-нат не выслушаете-нат мою веселую историю-нат, то я-нат умру-нат, но не понарошку-нат, а по-настоящему-нат и буду-нат потом-нат в маленьком гробике-нат среди бумажных цветочков лежать-нат, а вы, батюшка-нат, будете меня отпевать-нат, а вы, матушка-нат, горько плакать-нат!

Слова эти были настолько неожиданными, что о. Серапион, глянув на побледневшую супругу, тут же дал свое разрешение безо всякой предварительной

цензуры, не поинтересовавшись даже, выдуманная та история или невыдуманная.

– Ну что ж, Серафим, рассказывай, – глухо проговорил он, напрягаясь вместе с остальными слушателями.

И Серафим стал рассказывать.

– Стоит на полянке ежик-нат, стоит и прыгает-нат, и смеется-нат, – волнуясь до видимой телесной дрожи, заговорил мальчик. – Прыгает и смеется-нат, прыгает и смеется-нат, прыгает и смеется-нат... – В этом месте Серафима заело, и он повторил «прыгает и смеется» еще раз пять, пока самый старший брат его не прервал.

– Ну всё уже, напрыгался...

– Нет, не всё-нат, не напрыгался-нат! – упрямо не согласился младшенький и заставил бедного ежика еще немного попрыгать и посмеяться, после чего перешел к новому персонажу своей истории.

– А навстречу ему лось-нат.

– Кто? – не понял о. Серапион.

– Лось-нат, – наморщил лоб Серафим, недовольный тем, что его перебивают.

– Кто-кто? – все еще не понимал батюшка.

– Да лось же, господи! – воскликнула в сердцах матушка Неонила и даже махнула рукой на хозяина своей жизни.

– А, лось! – поняв наконец, кивнул о. Серапион, ввиду важности момента не обратив внимания на недопустимое поведение своей супруги.

– Лось спрашивает ежика-нат: «Ты чего смеешься-нат?» А ежик отвечает-нат: «Ты попрыгай, как я-нат, тоже будешь смеяться-нат».

В этом месте матушка прыснула в кулак и все, даже батюшка, заулыбались.



– Лось-нат прыгает-нат, прыгает-нат, прыгает-нат и все не смеется-нат. Остановился-нат, смотрит на ежика-нат... А ежик на него-нат... И молчат-нат. – В этом месте последовала пауза, во время которой Серафим удивительным образом преобразился в ежика – он смотрел по-ежиному на представляемого огромного сохатого и заговорил по-ежиному – бодро, но с какой-то печальной хрипотцой: – А тебе разве-нат травка брюшко не щекочет-нат?

Вот тут Твороговы душу отвели, вот тут повеселились! О. Серапион грохотал раскатисто и басовито, матушка заливалась, запрокинувшись назад и повизгивая, а один из братьев, то ли первый Николай, то ли второй, повалился на пол и дрыгал от смеха ногами, и отовсюду слышалось:

– Травка!

– Брюшко!

– Щекочет!

– Ой, не могу!

Не смеялся лишь один Серафим. Во-первых, потому что отсмеялся в классе на уроке, когда услышал историю от соседа, и выпал из-за парты, о чем имелась соответствующая запись учителя в дневнике, и, хотя ему очень хотелось теперь вместе во всеми своими свободно и безнаказанно посмеяться, он не мог себе этого позволить, потому что ощущал себя героем. Да он и был героем, героем этого дня, а где это вы видели, чтобы, совершая свои подвиги, герои смеялись? Слезы Серафим в тот момент глотал, это правда, но то были героические слезы.

Рассказывая детский анекдот, Серафим невольно пророчествовал о себе и своей судьбе. Ведь это он был тем самым ежиком, которому травка всегда щекочет

брюшко, а единственный его, самый лучший, самый надежный, самый сильный друг и брат во Христе о. Мартирий был конечно же лосем.

Маленькая, но очень важная деталь: ежиком о. Мардарий был необычным, он был ежиком с мягкими иголками. Известно, что все ежи такими рождаются, а спустя какое-то время твердеют до строгих своих колючек. Но по какой-то причине, быть может, из-за необычности своего рождения, воспитания или еще чего, иголки ежика Серафима остались мягкими. Что тут говорить, незавидна судьба такого совершенно не колючего ежа – скушает его первая встречная лиса, проглотит волчица, раздавит присевший отдохнуть медведь, но с лосем, этим, по сути своей мирным, но сильным, могучим животным, ему никто не страшен в сумрачном лесу жизни.

О встрече этих двух внутренне и внешне похожих на лося и ежа людей нам, видимо, придется особо рассказать, но пока мы говорим не о двоих, а об одном...

...и его мятежная юность

Телевизора у Твороговых не было не только по бедности, но и из принципиальных соображений – а ну как покажут что-нибудь не то? А с точки зрения православного христианина там все время показывали не то. Дети, несомненно, страдали, завидовали соседям с телевизором и иногда – нет, не смотрели, конечно, но – подсматривали – с улицы, через окно.

Увиденное впервые фигурное катание маленьких Твороговых настолько потрясло, что было тут же замечено родителями, за чем последовало суровое наказание. Оно заключалось в запрете на какой-то срок на причастие святых Христовых тайн, и более страшной кары Твороговы дети себе не представляли. Первенец Василий сказал однажды по этому поводу: «Лучше мне голым задом на

горящую плиту сесть и ждать, пока вода во рту закипит, чем без причастия жить», – эта его фраза стала в семье крылатой и повторялась всеми, вплоть до Серафима. Имея в родительском арсенале подобное мощное воспитательное средство, о. Серапион легко добивался послушания от непокорной по своей природе детворы.

Подрастая, взрослея, внутренне обогащаясь, твороговские дети все прохладнее относились к телевидению, говоря: «Да там нечего смотреть». А вот радио слушали, и не только в новогоднюю ночь, правда, не всё, а только радиоспектакли и музыку – классическую и народную. Любимую передачу всех советских людей «С добрым утром!» Твороговы не слышали ни разу, потому что воскресным утром всегда пребывали в храме на службе, и, это может показаться невероятным, не знали, кто такой Аркадий Райкин...

Нет, это надо повторить: не знали, кто такой Аркадий Райкин!

Вслух читали много – по вечерам, всем семейством, и не только Четьи минеи, но и русскую классику. Пушкина любили, Достоевского остерегались, Толстого боялись, с Лесковым спорили.

Но и здесь были запреты.

У любимого Пушкина «Сказка о попе и работнике его балде» не читалась никогда, и не только из-за неверного, на взгляд о. Серапиона, «образа православного священнослужителя», но и из-за того, что слишком много места там уделяется существу для кого-то сказочному, а в твороговской семье вполне реальному, обозначаемому на букву «ч».

Твороговы никогда не произносили слово «чёрт» вслух, а если без него нельзя было обойтись, употребляли только первую букву, причем понизив голос до шепота:

– Ч.

Так называемую советскую классику не читали, хотя, конечно, и «Как закалялась сталь», и «Повесть о настоящем человеке», и «Молодую гвардию» дети в школе «проходили», за что получали мальчики тройки, девочки – четверки, но в семье об этом не говорилось, как о чем-то неизбежном, стыдном.

В течение многих лет почтальон приносил Твороговым одну газету и один журнал. Газетой была «Правда», и читал ее исключительно глава семьи – не только чтобы «быть в курсе», но и «для отвода глаз».

Надев очки, о. Серапион садился у окна, разворачивал газету, чтобы видел сосед-сексот, и прочитывал ее от начала до конца, после чего складывал, поднимался и сообщал семье громким шепотом:

– Всё – неправда!

Опасения и даже страх перед стукачом имели под собой основания: о. Серапион отсидел пять лет за то, что на проповеди назвал Александра Невского святым благоверным князем, а у матушки Неонилы был точно такой же срок за то, что на комсомольском собрании назвала Ленина антихристом.

Батюшка и матушка познакомились в Камышлагe и иногда шутливо говорили своим детям: «Все своих деток в капусте находят, а мы вас в камышах». Впрочем, с рождением Серафима эта семейная шутка уже не повторялась

Ежемесячно приносимый почтальоном журнал назывался «Охота и охотничье хозяйство». О. Серапион ждал каждый новый номер с нетерпением и прочитывал от корки до корки с карандашом, делая пометки и выписки. В молодости, еще до рукоположения, он успел немного поохотиться с гончими, глотнуть сладкой отравы

этой древнейшей мужской страсти. Как священник о. Серапион не имел права стрелять и убивать и никогда этого не делал, но чтобы страсть утолить, ясным зимним деньком становился на широкие лыжи, затягивал свой старый латанный кожух самодельным патронташем, закидывал за спину одноствольную «тулку» со спиленным бойком, отстегивал от цепи гончака, которые у Твороговых никогда, даже в самые голодные времена не переводились, – Заливая или Догоняя, – других кличек о. Серапион как будто не ведал, и отправлялся в лес.

Пес знал свое дело – быстро находил косого и начинал гонять его по кругу с голосом. А православный охотник присаживался на поваленное дерево и слушал, наслаждаясь торжественным и страстным звуком гона, как наслаждается оперный фанат голосом любимого тенора – иной раз даже до слез. Где-то на четвертом круге о. Серапион выбирал позицию и снимал с плеча ружье. Притомленный бегом заяц останавливался на полянке, присаживался, озираясь, и в это время охотник тщательно выцеливал его, нажимал на спусковой крючок, после чего громко изображал выстрел: «Пу!!!» И еще раз: «Пу!!!» – ружье было одноствольным, но о. Серапион всегда мечтал о двустволке.

– Сегодня трех штук взял, – важно сообщал он матушке Неониле, когда после охоты та отпаивала его чаем с сушеной малиной.

– И не жалко, тебе, батюшка, зайчиков?! – недоумевала и сочувствовала даже неубитым зверюшкам матушка Неонила. – Прыгают себе, скачут, а ты...

– Как не жалко? Жалко, – соглашался о. Серапион, вытирая полотенцем пот со лба. – Но тут уж, матушка, ничего не поделаешь. Охота – это такая вещь...

Меж тем наступила перестройка, и, прочитав в «Правде» очередное

бесконечно-длинное и путаное выступление Горбачева, о. Серапион не говорил уже, что все неправда, а тянул в задумчивости:

– Да-а-а...

Помнится, одно из первых произнесенных маленьким Серафимом слов было слово «революция» – оно неожиданно аукнулось спустя много лет, когда в семье Твороговых появился свой революционер. Не только матушке, сестрам и братьям, но и самому батюшке юный Серафим бросал в лицо известный лозунг той поры:

– Перестройку начни с себя!

– Отойди, сатана! А то я тебе сейчас такое ускорение сделаю, что и матушка не удержит! – свирепел о. Серапион.

Братья применяли верное средство против распространяемой в семье революционной заразы – показывали Серафиму козу, и он тут же бледнел и замолкал, а если прибавляли грозно: «Идет коза рогатая!» – горе-революционер в ужасе убегал. Матушка на братьев ругалась, просила не применять этот запрещенный прием, но что им, пребывающим в растерянности, озадаченным новыми временами, было делать?

В о. Серапионе перестройка вызвала смятение. С одной стороны, власть стала относиться к церкви мягче, чем в прежние времена, но это-то и пугало. Нет, не готов он был к новой жизни, и ушел из нее с убеждением, что хуже, чем было, быть не может, но лучше тоже не нужно, потому что потом может стать совсем плохо. Простудившись однажды на охоте, о. Серапион решил «выбить клин клином» и, несмотря на уговоры матушки, снова на охоту отправился, выбив таким образом клин собственной жизни – слег и уже не поднялся.

Завещание о. Серапиона было устным, но тщательно выверенным: кто получил кожух, кто лыжи, кто ружье без бойка, один последыш остался без наследства.

– Бог попустил тебе родиться, Бог тебя и не оставит, – пообещал батюшка и, обратившись к братьям, прибавил, имея в виду Серафима: – Захочет уйти – не удерживайте.

После смерти отца главой рода и настоятелем храма стал о. Василий с раздобытой аж в Сибири дылдистой и косоглазой женой. О. Василий старался сохранить все, как было при отце, но, по правде сказать, мира в семье Твороговых не стало, всем сделалось в доме не только тесно, но и неудобно.

Серафим едва пережил смерть отца – его откачивали, отпаивали, хлестали, приводя в чувство, по толстым щекам. А когда на похоронах сын обхватил руками гроб отца, желая вместе с ним быть погребенным, четверо здоровых братьев с трудом смогли его от отцовской домовины оторвать... Да что там – упал ведь, в могилу вслед за гробом свалился, не желая расставаться с отцом, веревками ведь вязали и тащили наверх!

Ругались на Серафима после, стыдили, но и сами устыдились, увидев, кто из них больше всех батюшку любил.

– А я всегда это знала, – сказала матушка Неонила, когда пришла в себя.

Спустя год после смерти о. Серапиона ей потребовалась какая-то несложная, но обязательная операция, однако матушка наотрез отказалась ее делать и не ушла, а, можно сказать, убежала вслед за супругом, оглядываясь на детей с виноватой улыбкой.

– Зато без меня ты начнешь жить взрослой жизнью, – пыталась она объяснить

любимцу выгоду его будущего сиротства, перештопала свое старенькое бельишко, чтобы оставить его дочерям, и умерла.

Смерть любящей и любимой мамочки юноша перенес легче и над могилой почти не плакал, чем вновь удивил братьев и сестер.

Свежий ветер перемен разгонял скорбь, не давая думать о вечном. Серафим читал газеты, дискутировал с соседом-сексотом, призывая его к покаянию, по поводу и без повода цитировал Горбачева, а по ночам у соседа со справкой смотрел по телевизору программу «Взгляд».

Особенно его поразил сюжет, посвященный проституткам. Серафим заговорил о свободе плоти и о том, что должен поехать в Москву, где он эту свободу обретет. Пребывавшие в тесноте и обиде братья и сестры его уже не слушали, одна лишь Фекла относилась к заявлениям младшенького со всей ответственностью старшей сестры, частенько разговаривая с ним, пытаясь по привычке усадить к себе на колени.

– А ты не боишься, братец? – спрашивала она, а у самой от страха округлялись глаза.

– Чего бояться-то-нат? – храбрился Серафим.

– Ивашка, Ванька, Иван... – напоминала Феклуша.

– Ха-ха! Ты еще Ираиду вспомни! – насмешничал в ответ юноша.

– А епископ Иоанн, – напоминала Фекла о дальнем московском родственнике. – Встретит тебя там и посадит в свой департамент!

(Две вещи по-настоящему пугали Серафима в его воображаемом путешествии в Москву: пребывающий где-то там епископ Иоанн (Недотрогов) и козы, которые



могут встретиться по пути, – в столице быть их уже не должно.)

Серафим нервно глотал ртом воздух, набираясь мужества для продолжения разговора.

– Преподобный Паисий Величковский-нат говорил-нат: «Страх будущих скорбей-нат рождает слабость-нат и малодушие-нат, – объяснял брат сестре.

– Говорил, – скорбно соглашалась Феклуша. – Только преподобный совсем другое имел в виду.

Серафим отмахивался.

– Как наш батюшка-нат, царствие ему небесное-нат, говорил-нат: «Волков бояться-нат – в лес не ходить-нат». И ходил-нат!

– Говорил, ходил! – в голосе Феклы появлялись слезы. – А матушка, упокой, Господи, ее душу, все это время на коленях стояла – молитвы от волков читала. Ружье-то у батюшки не стреляло!

«Мое выстрелит!» – так образно и вольно хотелось крикнуть Серафиму, чтобы не только Фекла, но и весь мир услышал, но не делал этого – жалел, не мир – любимую сестренку.

(Забегая вперед, скажем, что Серафимушкино «ружье» так и не выстрелило, и решающую роль в этом сыграл о. Мартирий, впрочем, это другая история, которую непременно придется рассказать, озаглавив ее, ну, скажем, «Битва в пути»).

Революционные события в семье Твороговых развивались стремительно: двадцать первого июня 1991 года, когда революционно настроенные москвичи защитили демократию и самозванное ГКЧП пало, настоятель храма Успения Богородицы в поселке Новоленинское о. Василий со своим многочисленным

семейством возвращался домой после отслуженной литургии по поводу великого праздника Преображения Господня и первым увидел, что над их домом развевается трехцветный флаг, а рядом, держась за древко, стоит мятежный Серафим.

Внизу уже собрались довольные зрелищем соседи, заливался лаем Заливай, бегал в исподнем пьяный участковый, а бывший сексот фотографировал происходящее фотоаппаратом «Смена». Чинное православное семейство кинулось туда со всех ног. Растолкав собравшихся и уронив сексота, братья тут же полезли на крышу, а сестры побежали к себе в дом и стали вытаскивать на улицу матрасы и подушки, призванные смягчить возможное падение на землю родного человеческого тела, при этом Фекла надувала на бегу резиновый матрас, на котором спала сама.

Воздух свободы пьянил в тот момент не только счастливых защитников Белого дома в Москве – он долетал и в далекое Новоленинское, где стоял на крыше дома пьяный от революционного восторга Серафим.

Ветер перемен трепал полотнище флага, наскоро сшитого из половинки белой наволочки, красного платка Феклы и синих ненадеванных трусов Серафима, ерошил жидкие волосенки на голове розовощекого толстяка, придавая определенный романтизм всему его весьма не романтическому облику.

Серафим видел карабкающихся к нему по крыше братьев и, вскинув вверх кулак, прокричал в сторону невидимой, но, несомненно, существующей Москвы:

– Да здравствует свободная Россия-нат! Да здравствует демократия-нат! Да здравствует...

Братья неотвратимо приближались, и от здравиц надо было срочно переходить к политическим требованиям:

– Свободу совести и плоти-нат! Свободу Серафиму Творогову!

Последнее Серафим прокричал, подняв свой самодельный флаг над головой, но, махнув им всего раз, не удержал равновесие и под общее с земли «а-ах!» – кубарем полетел вниз.

Серафим не выцеливал Феклин матрас, но упал именно на него, и, возможно, это спасло ему жизнь, сломанными оказались всего одна нога, две руки и три ребра. Почти два года ушло на выздоровление, но ни больничная койка, ни эмалированная утка, ни костыли – ничто уже не могло охладить его революционный пыл.

Но ведь то же было и с нашей страной: свобода разгоралась, как пожар в брошенном доме – тушить не нужно, потому смотреть интересно.

Загипсованный, забинтованный, с исколотой попой Серафим все больше утверждался в необходимости освобождения своей плоти, для чего должен был сделать первый непростой шаг – покончить раз и навсегда с постыдной и несовременной девственностью.

Вообще-то, девственность было нормальным состоянием всех твороговских детей до законного освобождения от этого нелегкого бремени. Не только девушки, но и юноши, а точнее будет сказать – мужчины, так как отслужили уже в армии, рослые, плечистые, бородатые, все они познавали плотскую близость в свою первую брачную ночь, и остается только догадываться, чего это стоило здоровым парням, для которых грех рукоблудия приравнивался к скотоложству.

Серафим этих проблем, наверное, не имел – в двадцать один год он еще не брился (в армию его не взяли из-за плоскостопия, перешедшего после перелома ноги в косолапие) и на женщин смотрел без намека на вожделение, глядя не на ноги

или грудь, а исключительно в глаза. Для него это был не вопрос пола, а вопрос принципа, разрешить который представлялось возможным только в Москве.

Как все новое и прогрессивное проститутки находились там.

«В Москву-нат! В Москву-нат! В Москву-нат!» – упрямо заладил наш герой, не слыша ничего супротивного в ответ, не видя сердитых братских взглядов и горестных глаз сестер.

Выполнив все пункты отцовского завещания, поделив между собой кожух, лыжи, патронташ и ружье, братья нарушили его в одном пункте – чтобы Серафим не погиб окончательно, решили никуда младшего не отпускать.

И наверняка никуда бы не отпустили, если бы Серафим не перестал ходить в храм, и даже запрет на причастие его уже не пугал.

– Между городом «Да»-нат, и городом «Нет»-нат есть огромная страна-нат, в которой живут свободные и порядочные люди-нат. Она называется-нат «Ни да, ни нет»-нат. Я отправляюсь туда-нат и буду там жить-нат, – так неожиданно витиевато объяснил однажды свою новую религиозную позицию Серафим, но братья его поняли.

«Пошел вон, щенок!» – вот что хотели они на это ответить, но, преодолевая себя, ответил за всех старший Василий:

– Что ж, вольному воля...

И Серафим покинул свой род и отправился в Москву, и та полная опасностей и приключений поездка требует уже совершенно отдельной главы, которую, как обещано, мы называем «Битва в пути».

# Глава двадцатая

## Битва в пути

Воистину судьбоносная встреча Сергея Николаевича Коромыслова и Серафима Серапионовича Творогова, более известных нам как о. Мартирий и о. Мардарий, случилась 21 ноября 1993 года, когда русская церковь праздновала Собор Архангела Михаила и прочих Сил Бесплотных. (Как все религиозные люди, не допускающие случайностей, годы спустя вспоминая произошедшее в тот день, наши герои находили в этом глубокий смысл.)

Объединившая две судьбы в одну встреча произошла там, где очень часто у нас в России встречаются и знакомятся совершенно незнакомые люди, разговаривают на все без исключения темы, выпивают, закусывают, пьют чай, спят, перекусывают, пьют и снова разговаривают на все без исключения темы, где рвутся старые связи и завязываются новые, где делаются неслыханные признания и совершаются невиданные поступки, где русский человек не только с горечью поминает свое прошлое, но и с надеждой думает о будущем, – вы, конечно, уже поняли: встреча эта произошла в дороге.

Дорога в России больше, чем дорога, при условии, что она железная.

Без сомнения, самолет – изобретение дьявольское, направленное, в первую очередь, против русского человека. Европейцы ничего не потеряли, пересев из кресел узкоколейных своих вагончиков в самолетные кресла, мы же потеряли очень многое, если не всё.

В самолете не поваляешься на верхней полке, не покуришь в холодном тамбуре, не посидишь в вагоне-ресторане за солянкой в судке и графинчиком водки, а главное, не поговоришь – не поговоришь по душам с совершенно незнакомым тебе человеком, не выложишь ему всю подноготную своей непутевой жизни, а он – своей.

Дорога для русского человека – очередной последний шанс стать лучше, и слава тебе, Господи, что наши герои встретились не в самолете – в ...

## Конец ознакомительного фрагмента

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную версию](#).

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

# Примечания



«Ибо, когда будут говорить: “мир и безопасность”, тогда внезапно постигнет их пагуба, подобно как мука родами постигает имеющую во чреве, и не избегнут». Первое послание Павла Фессалоникийцам. – *Примеч. авт.*

«Истинно говорю вам: будут прощены сынам человеческим все грехи и хуления, какими бы ни хулили; но кто будет хулить Духа Святаго, тому не будет прощения вовек, но подлежит он вечному осуждению». Евангелие от Марка. 3: 28–29. – *Примеч. авт.*

«Я не совсем бесполезен, меня можно использовать в качестве плохого примера». – *Пер. авт. со словарем.*

«Боже мой, Боже мой! для чего Ты Меня оставил!» Евангелие от Матфея 27:46;  
Евангелие от Марка 15:34. – *Примеч. ред.*

«Ибо слово Божие живо и действенно и острее всякого меча обоюдоострого: оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и сужит промысления и намерения сердечные» (Послание апостола Павла к евреям, 4:12). – *Примеч. ред.*

Ортодоксия – правильное учение, ортопраксия – правильное поведение. –  
*Примеч. авт.*